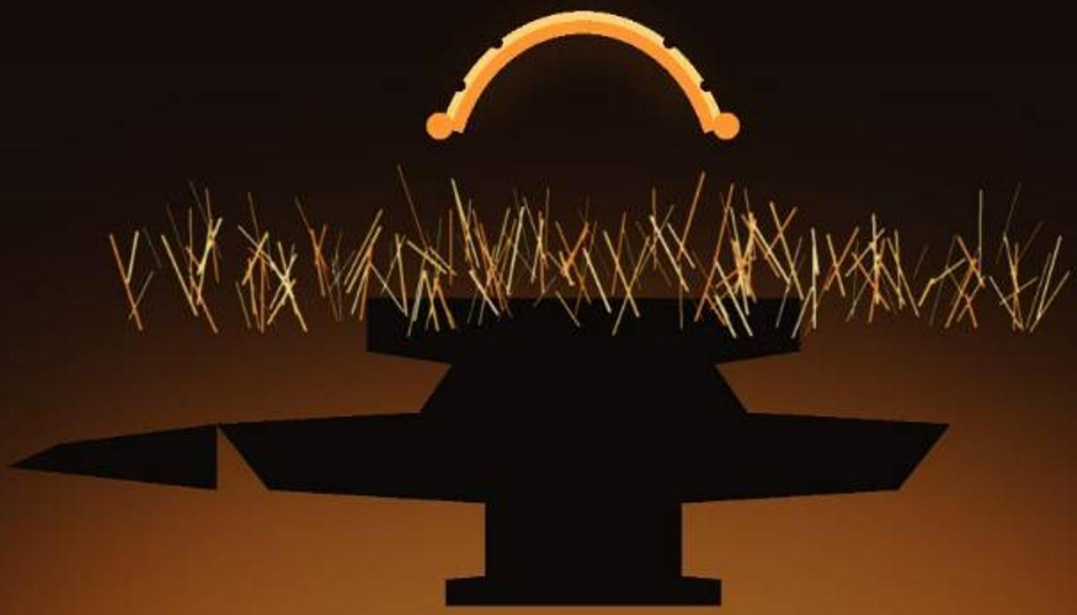
ЛОЗОВ СЕРГЕЙ

ЛОПУХ

Книга вторая

ДВА ГОДНЫХ



Из одиннадцати гвоздей — два годных

Сергей Лозов

Два годных

«Автор»
2026

Лозов С. Ю.

Два годных / С. Ю. Лозов — «Автор», 2026

Гоша, пятнадцатилетний двоечник из нашего мира, живёт в деревне Колотово и учится ковать. В первой осени у него вышло из сорока гвоздей одиннадцать — а кузнец, говорит Гуннар, не тот, у кого годных больше, а тот, кто знает, почему остальные вышли так, как вышли. Теперь Гоше нужен гвоздь, который держит: строительный, потом подковный. За скобу-придумку заплачено костяшками, репутацией и первой настоящей платой — медяк за молчание конюх вернул.Зато появились две двери: кузница и дьякова горница. У дьяка учат грамоте, у дьяковой дочери Пелагеи — тому, как живут те, кому нельзя: девкам не полагается даже «почему». А в ящике со старым железом лежит дедова монета без чекана — монета за молчание. К ней дважды в год едут пустые воза и возвращаются лёгкими. И Гоша, между нами, уже понял: на «нельзя» в этом мире лежит вся дорога его жизни.Сорок гвоздей — урок. Подкова — экзамен. Из одиннадцати гвоздей — два годных.

© Лозов С. Ю., 2026
© Автор, 2026

Сергей Лозов
Два годных

ЛОПУХ
Книга вторая. Два годных
Главы 1–19. Полный том
Глава первая. Два годных

Между нами и Петровым днём прошло три недели. Три недели я был человек «издалека».

Скажу, что это значит, потому что вы этого не знаете — а я узнал и был в восторге, и восторг этот, между нами, был неистребимо похож на двойку за поведение. «Издалека» — это когда ты уже не чужой, но ещё и не свой. Чужого в деревне сторожат. Свойство — приглядывают. А издалека смотрят. Просто смотрят, как смотрят на идущий по полю дождь: дождь нужный, но что он там ещё принесёт — неизвестно. Может, хлебушек поднимет. А может, примет и всю полосу.

Меня принёс скупщик. Семь телег Прохора Светозарова уехали в город с моим мылом, с Мальфридовой сметой и с её словом «двенадцать городов», и с тех пор на меня в деревне смотрели по-новому. Раньше на меня смотрели, как на кузнецова подмастерья, который месяц назад умудрился сварить горло куску. Теперь на меня смотрели, как на человека, о котором сказал слово скупщик с семью телегами. Разница, между нами, такая же, как между «его отпустили» и «его выпустили».

Дьяк, к слову, был доволен. Дьяк — это отдельная история, и я её расскажу, не спешите. Важно сейчас одно: по чётным дням ко мне в кузницу приходили Палашка и ещё три двора, которые решились, и я учил их считать. Не грамоте — грамота у дьяка, по чётным дням, за учение. А считать. Сколько шипнул котёл. Сколько воды. Сколько жира. Считать, между нами, я умею лучше, чем всё остальное в этом мире, — потому что счёт я вернул из моего мира целым. Это, если подумать, единственное, что у меня вообще уцелело от моего мира: таблица, которую меня заставляли учить трижды, и которая трижды от меня уезжала, как телега с горы.

Так вот. Это утро.

Про это утро у меня была одна задача — гвозди.

Звучит, между нами, как старая песня. Потому что в первый день в этой кузнице у меня тоже была одна задача — гвозди. Сорок штук. Кои выйдут — те мои, кои не выйдут — те моё наказание. И я тогда не выковал из сорока ни одного, а Гуннар посмотрел на эти сорок бесполезных заготовок и сказал то, с чего начинается вся эта история:

— Из одиннадцати гвоздей два годных.

Теперь, три года как-никак... нет, между нами, гонора ради — два месяца как-никак, я стоял у горна и был мастером мыла, человеком «издалека» и учителем четырёх дворов. И Гуннар сказал с вечера:

— Завтра гвозди.

— Сколько? — спросил я умно.

— Сколько выйдешь, — сказал Гуннар.

И это, между нами, было хуже, чем сорок. Сорок — это число. Число можно сосчитать, к сорок можно споткнуться и упасть. А «сколько выйдешь» — это когда стул из-под тебя вынимают, но стула-то и не было.

Горн

Гвоздь, я вам скажу, — это самая наглая вещь из всех, что делают в кузнице. Наглая — потому что выглядит просто. Клин заострил — и гвоздь. Слева, справа, заострил — готово. Любой дурак справится.

Любой дурак, между нами, не справляется. Я проверял. Два месяца.

Потому что гвоздь — это не клин. Это пруток, у которого один конец остёр, а другой — шляпка. И шляпка — вот она, между нами, вся проблема. У стержня нормальный кузнец держит пруток клещами и чувствует его руками, а шляпка делается на самом кончике — там, где пруток уже тонкий, где железо уже остыло, где клещи уже не те и рука уже дрожит. И когда бьёшь молотом по этому кончику, гвоздь, между нами, делает одно из двух: либо сгибается, либо улетает в угол и прячется там, как солдат в кустах, — и потом ты его ищешь с фонарём, а он сидит под щепой и радуется.

И вот в чём самое страшное. Кусок мыла — это кусок мыла. Кривой кусок, кривой не кусок, и сразу видно, где криво. А гвоздь — он маленький. И его сорок. И если из сорока вышло два кривых, то эти два, между нами, всё равно среди годных, потому что никто их не отличит, пока не забьёшь в доску и не увидишь, что гвоздь пошёл вбок и вылез бочком через три доски. И тогда в чужом дворе, где ты его забил, будет сидеть твой гвоздь и держать на себе всю твою репутацию — криво.

Утром я встал, и, между нами, началось то самое, о чём я не хотел думать с вечера.

Первые три гвоздя я сделал за полчаса. Три — потому что я чувствовал себя мастером: руки помнили горн, рука помнила молот, я разогрел пруток, вытянул, заострил, отрубил, положил на наковальню, отбил шляпку. Красивые получились. Блестящие. Тонкие. Как волосы Гуннара на щеке, которого нет.

Потом Кусака, между нами, обошла меня по кругу и села на завалинке. И вот тут я вспомнил, что Кусака садится на завалинку не когда всё хорошо, а когда надо посмотреть, как всё плохо.

Четвёртый гвоздь я согнул. Пятый — сломал: не сломал, а именно развалил на две половины, потому что остыл. Шестой — улетел в угол, я его с фонарём не нашёл и нашёл только на следующее утро, когда наступил на него в темноте и вспомнил всю гувернантку с её таблицей умножения. Седьмой вышел так хорош, что я его нес показать, — и Гуннар, не глядя, положил его в ящик со старым железом, что между кузнецами, между нами, означает «на подковы не годится, на гвозди погоди». Восьмой и девятый я сжёг — то есть просто перестал их видеть в горне, потому что у Гуннара есть глаз, который различает железо в огне по цвету, а у меня есть глаза, которые различают в горне всё одинаково: огонь. Десятый пошёл вбок уже на наковальне, я его поправил — и поправил вбок ещё сильнее, потому что, между нами, когда гвоздь пошёл вбок, его не поправляют. Его выбрасывают.

А дальше я стал делать то, что я умею делать лучше всего в этом мире. Считать.

Я взял дощечку и стал чертить крестики. Каждый гвоздь — один крестик. Кривой — крестик с зарубкой сверху. Сломанный — крестик с зарубкой снизу. Улетевший — крестик сбоку, потому что улетевший, между нами, вообще нельзя было расписать честно: он и не плохой, и не хороший, он просто исчез, а исчезнувшее, между нами, живёт в отдельной строке.

Дощечка кончилась раньше, чем гвозди.

Я потом Гуннару говорил, что это совпадение. Гуннар на «совпадение» смотрел так, как Кусака на курицу.

Два годных

К вечеру у меня было одиннадцать гвоздей. Из тех сорока, что я возил. Одиннадцать из сорока — это, если посчитать, в моём мире означало двойку с плюсом, потому что в моём мире за такое ставили двойку, если сдаёшь, и выгоняют, если не сдаёшь.

Я сложил их на столе. Ровным рядом. Красиво.

И — между нами, честно — я смотрел на них как на свою лучшую работу за два месяца. Одиннадцать гвоздей. Годных. Моих.

Пришёл Гуннар. Он вошёл в кузницу, посмотрел на стол — и сделал то, что я запомню на всю жизнь, как запомнил двойку за таблицу умножения в третьем классе, которая от меня, между нами, уехала трижды.

Он молча достал из ящика два гвоздя — своих, старых, из первого ряда, — и положил рядом с моими одиннадцатью.

И вот что я вам скажу. Мои одиннадцать были длиннее. Тоньше. Блестели сильнее. Гуннаровы два были короче, толще и тусклее — как два старых гвоздя, которые они и были. Но когда я взял Гуннаров гвоздь и попробовал его пальцами на сгиб — гвоздь держал. Пружинил и держал. Мой гвоздь, лежавший рядом, я взял и согнул пальцами — и он сгиба осязаемо сдался. Не сломался. Просто сдался. Как сдаются не враги, а двоечники, между которыми, между нами, я всю жизнь хожу.

— Кривые, — сказал я.

— Кривые, — согласился Гуннар. — Оба.

— Как?

— Кривые, — повторил Гуннар, — потому что ты их выковал. Точка. Кузнец, лопух, не тот, у кого годных больше. Кузнец — тот, кто знает, почему остальные десять вышли так, как вышли. — Он посмотрел на стол. — Знаешь?

Я молчал.

— Вот и я, — сказал Гуннар, — в этом году не знаю, как вырос мой гвоздь. — И ушёл в дом.

Кусака подошла к столу. Понюхала мои одиннадцать гвоздей. Потянула носом. Понюхала Гуннаровы два. И отошла от моих — тихо, спокойно, как отходит от котла, который уже не попробуешь. И легла на золу. И это, между нами, была не мистика, это был запах: Гуннаровы гвозди пахли кузницей, а мои — лужей и углём.

Сентенция дьяка

А вечером — по чётному дню — пришёл дьяк. Он пришёл не за учением. Он пришёл, между нами, потому что у дьяка, как я понял к этому времени, есть один промысел: он слушает деревню, а деревня слушает его, и никто никому не говорит, что они слушают. Он сел, посмотрел на мой стол с одиннадцатью гвоздями, на Гуннаровы два — те, что я оставил рядом, для сравнения, как оставляют контрольный пример в тетради, — и сказал ту фразу, которую я потом выписал на дощечку углём и которую, между нами, выписывайте и вы:

— Гвоздь, лопух, вгоняют так, чтобы его не было видно. Если гвоздь видно — работа плохая. Мыло, лопух, показывают. Гвоздь — прячут. Ты научился тому, что показывают. Теперь учись тому, что прячут.

И ушёл.

А я остался сидеть в кузнице, в темноте, с одиннадцатью кривыми гвоздями и двумя чужими годными, и Кусака лежала на золе и дышала — тяжело, с прожаренным запахом, как дышит пёс, который считает, что спящий человек что-то скрывает.

И я, между нами, стал считать.

Один крестик — кривой зарубкой сверху. Второй — зарубкой снизу. Третий — сбоку. Четвёртый — сгоревший, отдельной строкой. И на пятом крестике у меня в голове, между нами, встал вопрос. Тот самый. Главный. Двоечницкий.

«Почему в моём мире гвоздь стоит копейку?»

Не потому что мало железа. Не потому что дешёвое — я не знаю. Но я помню, что в моём мире гвозди — это то, что лежит в ящиках в магазине, и их там много. Много. И одинаковые. И никто не суёт палец, чтобы проверить, сгибается или держит.

Значит — их делают много. И — одинаково.

А много и одинаково, между нами, руками не выходит. Руками выходит одиннадцать из сорока. Значит, есть что-то ещё. Не глаз. Не рука. Что-то, что держит гвоздь ровным, пока рука его куёт.

И я, сидя в темноте, впервые за два месяца почувствовал то, что в моём мире чувствовал, когда училка вызывала меня к доске по черчению, а я, дурак, сидел и знал, что черчение — это то единственное, что у меня есть.

Мне надо было что-то придумать. Не вспомнить — вспомнить я не мог. Придумать.

И я взял дощечку и начал чертить крестики дальше. Не про гвозди. Про то, что случается, когда гвоздь сгибается. Сгибается — когда рука дрожит. Дрожит — когда держит клещами. Держит — а надо бы не рукой.

Тут, между нами, у меня внутри сделалось то самое, что бывает в моём мире, когда двоечник вдруг понимает задачу, — не понимает, а чувствует, как чувствуют дверь в тёмной комнате плечом.

И я, между нами, пошёл искать в темноте железо, из которого можно сделать не гвоздь, а то, что держит гвоздь.

И на этом месте у меня заканчивается эта глава, потому что дальше — уже работа, а работа, между нами, начинается с утра.

Глава вторая. Счёт брака

Я обещал в прошлой главе закончить на том, что пошёл искать в темноте железо, из которого можно сделать не гвоздь, а то, что держит гвоздь. Расскажу, что я нашёл, потому что нашёл я, между нами, классику: ничего.

В кузнице ночью темнота особенная. Она не пустая — она набитая. В ней лежат клещи, молоты, обручи, подпорки, и всё это ночью имеет одну общую привычку: подставлять мне голень. Я обошёл горн, короб, наковальню, трижды врезался в стойку для клещей — она, между нами, каждый раз стоит не там, где стояла вчера, я её подозреваю в передвижении, — и нашёл только то, что нашёл бы и днём: железо. Ровно то железо, которое я уже видел днём. И ровно то, из которого уже делаю гвозди.

И тогда я сделал то, что делает двоечник перед сном: отложил задачу. Не отложил — сбежал. Это разные вещи, я вам потом объясню разницу, когда сам пойму.

Дощечка

А утром всё объяснила Мальфрида.

Я завтракал. Завтрак был ячневая каша — и, между нами, я уже научился есть её как местный: не думая. Думать за едой тут не полагается, потому что еда — событие, а не пауза между событиями. В моём мире я ел и смотрел в телефон. Тут я ел и смотрел в кашу. Прогресс, между нами, спорный.

И вот я ем, и ко мне приходит Мальфрида с моей дощечкой. С той самой, на которой я вчера чертил крестики про гвозди. Она несла её двумя пальцами, как несут дохлую мышь за хвост — не брезгливо, а так: тут явно что-то не то, и неизвестно, что хуже.

— Это что? — спросила она.

— Крестики, — сказал я честно, потому что врать Мальфриде я пробовал один раз и больше не хочу: у меня от вранья шея потеет, а у неё от моего вранья поднимается половник, и половник, между нами, весит больше моей шеи.

— Это я вижу, что крестики. Зачем?

— Считал.

— Что считал ты, лопух? — И она положила дощечку на стол. — Гуннар говорит: у тебя гвоздей одиннадцать. А крестиков тут — тридцать восемь. Где остальные гвозди, лопух? Куда ты их девал? Их съел кто? Кусака?

И вот тут, между нами, надо было быстро объяснить. А я не умел объяснять быстро — я вообще не умел объяснять, я умел только делать и потом узнавать, что сделал. Поэтому я сказал:

— Крестики — это не гвозди. Это ошибки.

Мальфрида посмотрела на дощечку. Потом на меня. Потом опять на дощечку.

— Ты считаешь ошибки, — сказала она ровно.

— Считаю.

— По одной черте за ошибку.

— Да.

— И складываешь их на дощечку.

— Да.

— И дощечку хранишь.

— За стропилом.

Мальфрида взяла у меня ложку. Аккуратно. Положила себе рядом. И сказала с той интонацией, с которой в моём мире говорят «Гоша, мы с тобой поговорим, когда папа вернётся»:

— Лопух. У меня сорок лет рук. Я кашу варю сорок лет. И ошибок у меня за сорок лет было меньше, чем у тебя за один день. А я их НЕ СЧИТАЮ. Ты знаешь, что это значит?

— Что?

— То, что ты их не только считаешь, — сказала Мальфрида. — Ты их КОПИРУЕШЬ. Кому-то, значит, нужно. Наказания, что ли, пишешь себе. Сам на себя челобитную. — Она забрала дощечку обратно. — Всё. Это теперь моё. Пусть у меня хоть что-нибудь будет, чего ты не считаешь.

И ушла с моей дощечкой. И вернула её только вечером, и на дощечке, между нами, была одна новая зарубка — ровная, прямая, не моя. Я спросил, что это. Мальфрида сказала: «Это тебе за дощечку». Началась у нас с ней, между нами, взаимная бухгалтерия. Я веду счёт ошибкам — она ведёт счёт мне. Так и живём.

Крестики против гвоздей

А после завтрака я вернулся к своим крестикам и стал смотреть на них, как смотрят двоечники на двойку: долго, без надежды и с вниманием.

И вот что я вам скажу. Двоечник — это, между нами, не тот, кто не умеет смотреть. Это тот, кто умеет смотреть только на своё. Училка мне ставила двойку — а я смотрел не на двойку, я смотрел на её лицо и видел по лицу, что она уже знала, что двойка будет, ещё ДО того, как раскрыла тетрадь. Это, между нами, единственное, что я вычитал из школы: смотреть не на работу, а на то, что вокруг работы.

И вот я смотрю не на крестики. Я смотрю НА КРЕСТИКИ. Разница тонкая, объясню.

Крестики мои были тридцать восемь. И я стал их пересчитывать — не подряд, а по сортам. Кривые зарубкой сверху — сколько? Восемнадцать. Сломанные зарубкой снизу — сколько? Одиннадцать. Улетевшие сбоку — шесть. Сгоревшие отдельной строкой — три.

И тут, между нами, у меня внутри сделалось то самое. Как в школе, когда двоечник вдруг замечает, что в задачке про два поезда есть цифры, и цифры эти складываются в ответ, а ответ этот — не в конце учебника, а у тебя в голове, и тебе за это ничего не будет, даже похвалы не будет, а всё равно — ВОТ ОНО.

Восемнадцать кривых. Одиннадцать сломанных. Шесть улетевших. Три сгоревших.

Восемнадцать — это больше половины. И кривые — это не худшие. Кривые — это те, которые я выковал ПОСЛЕ того, как устал. Утром — три красивых. К вечеру — кривые. Кривые шли не по мастерству. Кривые шли ПО ВРЕМЕНИ.

А сломанные — зарубкой снизу, одиннадцать — это были те, которые остывали. Я держал пруток, я тянул, я тянул, и пруток остывал, и я догонял остывшее железо молотом, и оно разваливалось. Сломанные — это не рука. Сломанные — это ХОЛОД.

А улетевшие — это клещи. Шесть раз гвоздь вырвался из клещей на ударе. И все шесть — в одинаковый момент: когда я бил не по кончику, а рядом с кончиком, потому что кончик был тонкий, а клещи держали далеко, и между клещами и кончиком болтался хвост, и хвост этот, между нами, трясся на каждом ударе, как хвост Кусаки, когда она видит курицу.

И я сидел и смотрел на свою дощечку, и дощечка мне рассказывала то, что я не мог рассказать себе сам.

Ошибки не были случайными. Ошибки были ЗАКОННЫМИ. Они шли по расписанию: устал — кривой, остыл — сломанный, задел хвост — улетевший. Три расписания. Три строчки. И если бы я знал расписание заранее — я бы половину крестиков не чертил вовсе.

Гуннар

Я взял дощечку и пошёл к Гуннару. Гуннар стоял у горна и ковал — не гвозди, подкову, настоящую работу. Я дождался, пока он закончит удар, — к кузнецу с вопросом не приходят посреди удара, это как в мой мир врываться посреди сна, — и положил дощечку на наковальню.

Гуннар посмотрел на крестики. Много. Долго. Потом снял рукавицу, провёл большим пальцем по зарубкам — по одной, по другой, по третьей строке.

— Сверху — кривые, — сказал он.

— Да.

— Снизу — сломанные. Боком — улетевшие.

— Да.

— А что ты хочешь, лопух?

— Я хочу знать, почему они такие. Все тридцать восемь.

Гуннар положил рукавицу на наковальню. И, между нами, он сделал то, что делает редко: сел. Он сел на свою скамью, и молот остался у горна, и это значило, что разговор будет не длинный, а другой.

— Скажи ты мне, — сказал он, — почему кривые.

— Потому что я устал. Кривые идут к вечеру.

— Почему сломанные?

— Потому что пруток остывал. Я тянул медленно.

— Почему улетевшие?

— Потому что хвост болтался. Клещи держат далеко от кончика, и хвост трясётся.

Гуннар молчал. Потом сказал:

— И давно ты это знаешь?

— Только что. Из крестиков.

— Ага. — Он посмотрел на дощечку ещё раз. — Ты понимаешь, лопух, что ты сейчас сказал? Ты сказал, что тридцать восемь ошибок не случайны. Что у них есть расписание. Я это знаю — я кузнец, мне это в руки дали вместе с молотом, лет в семь, на побоях. А ты это ВЫЧИТАЛ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ. Из чёрточек углём.

Он встал. Взял свой молот. И сказал сентенцию — ту самую, одну на главу, которая потом легла в мою голову рядом с дьяковой:

— Двойка, лопух, — это не работа, которая не вышла. Двойка — это работа, которую не посчитали. Посчитанная двойка — это уже половина пятёрки. Тебе до пятёрки осталось придумать, чем держать пруток за кончик, чтобы хвост не трясся. — И он посмотрел на свои клещи. — А это, лопух, придумать не грех. Инструмент — не стыд. Стыд — это кривой гвоздь, который знали, что будет кривой, и всё равно в брус вбили.

И ушёл к горну. А я остался с дощечкой, с тридцатью восемью крестиками и с одной задачей, которая, между нами, была уже не «сделать гвоздь», а «сделать то, что держит».

Кусака и курица

Тут надо рассказать про курицу. Не соседскую — нашу боязнь забыть её нельзя, соседская жива и глупа, и ей, между нами, до наших гвоздей дела нет.

Кусака сидела на завалинке и смотрела, как я хожу по кузнице и меряю прутки. Смотрела с тем выражением, с которым в моём мире смотрят на человека, который в третий раз пересобирает шкаф и в третий раз остаётся с одной лишней дверцей.

А потом за двором закудахтала та самая соседская курица. Жёлтая. Наглая. Она, между нами, за два месяца стала у нас местной достопримечательностью: приходила, съедала у порога что-нибудь и уходила с чувством, что сделала полезное дело.

Кусака встала. Медленно. Так, как встаёт собака, которая приняла решение, но хочет, чтобы все видели: решение давалось ей тяжело, всей душой.

Курица прошла мимо завалинки на расстоянии лапы.

Кусака сделала шаг. Ещё шаг. Курица даже не оглянулась — она Кусаку знала и не уважала, у них, между нами, давно сложились отношения в духе «ты не догонишь, я знаю».

И вот тут — я это видел, я всё это видел, и я не вмешался, и теперь мне за это немного стыдно, но немного, — Кусака сделала рывок. Честный, собачий, с шёрсткой на загривке. Курица взвизгнула, взлетела, снесла по пути Гуннаров тачку, приземлилась и убежала за плетень с чувством выполненного долга — то есть с одной вырванной, по-моему, перышкой.

А Кусака стояла посреди двора. И смотрела на меня. И взгляд у неё был такой: «Ты видел. Ты всё видел. И ты не скажешь никому, потому что я тебе нужна для работы, а ты мне — для еды. Мы, лопух, квиты».

И ушла на золу. И это была, между нами, самая честная сделка за весь день — честнее любой на ярмарке.

Вечер

Вечером я сидел в кузнице один — Гуннар с Мальфридой были в доме, и оттуда доносился разговор, который я не слушал, потому что слушал своё.

У меня был пруток. Я держал его клещами за середину — как положено. И смотрел на кончик. И кончик был далеко от клещей — на два пальца. И эти два пальца, между ними, болтались при каждом ударе.

А что, если держать не за середину?

Я попробовал. Клещи взяли пруток почти у самого кончика — а дальше, между нами, была беда: рука при ударе отскакивала, пруток прыгал, и держать его так было всё равно что держать змею за хвост. Кончик дрожал даже сильнее.

Не клещами за кончик. Клещи не умеют за кончик — у них губки толстые, а кончик тонкий, они его мнут.

Значит, держать должен не клещ. Значит, держать должно что-то другое.

И вот тут, между нами, у меня в голове впервые за два месяца встретились мой мир и этот. Не в запахе. Не в пене. В пустяке.

В моём мире у деда в сарае были тиски. Тиски — это две стальные губки, которые зажимают железо намертво, и железо в них не дрожит, потому что не железо дрожит — рука дрожит, а рука в тисках не участвует. Дед зажимал заготовку и строгал её спокойно, как хлеб режет. Свободной рукой.

А тиски — это железо, которое держит железо.

Я сел. У меня, между нами, внутри было то самое чувство, которое двоечник знает лучше всех на свете, — и которое умные не знают никогда, потому что умные ни разу не сидели над задачей, где всё решение состоит из одной мысли, а мысль эта — «а почему бы не так».

Мне не надо было держать пруток за кончик. Мне надо было, чтобы пруток держали ЗА МЕНЯ.

Не подставка — подставка держит снизу, а надо держать намертво. Не клещи — клещи в руке, а рука дрожит. А то, что стоит на наковальне. Или рядом с ней. Что-то тяжёлое. С вырезом. С прутком в вырезе. Удар — сверху, по кончику. Шляпка — выкована. Пруток не дрожит, потому что его держит железо, а не рука.

И я, между нами, пошёл к горну — и уже не искал в темноте вслепую, как ночью. Я знал, что ищу. Кусок железа. Толстый. Такой, чтобы я его не сдвинул ударом.

И на этом месте у меня заканчивается глава, потому что дальше — стучать, а стучать, между нами, надо со свежей головой. Свежая голова у меня по расписанию: после завтрака.

Завтрак, между нами, меняет не только голос. Завтрак меняет решения.

Глава третья. Гвоздильня

Утро началось как положено: с каши. Кашу я ел и смотрел на неё — по-местному, не думая. А думать было про что, потому что за ночь задача «что держит пруток» выросла в задачу «из чего его держать».

Держатель, я вам скажу, — это железо, а железо в кузнице, между нами, не раздаётся. Оно лежит. И лежит оно по законам, которые я за два месяца так и не выучил: всё годное лежит глубоко, всё негодное — сверху. Я разгрёб гору старья у стены — обручи, подпорки, обломок косы, три подковы, происхождение которых Гуннару лучше не задавать, — и всё это было не то. Мелко. Тонко. Легко.

Мне надо было такое, чтобы удар не сдвинул. А удар, между нами, двигает всё. Я это проверил на собственной голени ещё в первый месяц: молот не разбирает, где железо, а где я.

И тут Кусака встала с завалинки, прошлась по кузнице, села на конец наковальной бабки — на широкую чугунную лапу, которая торчит у бабки сбоку, как каблук у сапога, — и посмотрела на меня.

Сначала я не понял. Потом понял: Кусака никогда не садится на железо. Кусака на железо не садится, потому что железо холодное, а она, между нами, холод не любит и гордость свою холода знает. А села.

— Ты чего? — спросил я.

Кусака посмотрела на лапу бабки. Потом на меня. Потом опять на лапу.

И я, между нами, впервые в жизни понял собаку с первого раза. Лапа бабки — это железо. Массивное. Незыблемое. Удар её не сдвинет — она и есть наковальня, просто сбоку. И у неё, если приглядеться, край плоский, а чуть выше — зарубка, где годами отколупывали что-то.

Из этой зарубки можно вырубить выбоину. В выбоину — пруток. Удар — сверху, по кончику. Пруток не дрожит, потому что его держит наковальня, а наковальня, между нами, ещё никогда не дрожала — даже когда дрожал я.

Я присел на корточки и посмотрел на Кусаку с уважением. Кусака зевнула, как будто ничего такого не сделала, и ушла на золу. Совесть, между нами, скромная.

Пробойник

Выбоину я пробивал весь день. И в этом дне, между нами, было всё, что я потом запишу на дощечку под строкой «сколько потратил».

Сначала я думал сверлить. Сверлить тут нечем — я спросил у Гуннара, есть сверло, он посмотрел на меня так, как в моём мире смотрят на человека, который спрашивает, есть ли у соседа интернет. Сверлил тут лучком да песком — и лучок, и песок, и умение были у Гуннара, а у меня были энтузиазм и голень, о которую всё это могло удариться.

Потом я сообразил, что отверстие мне и не надо. Надо выбоина — выемка, в которую пруток ляжет и не выскочит вбок. А выбоину, между нами, можно просто вырубить. Пробойником. Зубилом. Молотом.

Первый удар я дал вон туда, где надо было. Второй — туда же, только пробойник соскользнул, и я узнал, что зубило по наковальне отскакивает наверх со скоростью, на которой его уже не видишь, а чувствуешь. По костяшкам. Я, между нами, заорал сдержанно — то есть на весь двор, но с достоинством. Мальфрида из дома крикнула, чтобы я не орал на железо, железо не подент.

К обеду выбоина была. Кривая. Глубже с одного края — я бил, как умел, а умел я по-двоечницки: с чувством, но мимо. Я уже готовился искать новый кусок железа, а потом посмотрел на свою кривую выбоину и подумал ту мысль, которая, между нами, дешевле всего на свете и дороже всего на свете одновременно:

«А постой. Кривая — не значит плохая».

Потому что выбоина лежит глубже с одного края — а пруток, значит, ляжет в неё с уклоном. И кончик его, значит, будет смотреть не в небо, а чуть вбок — туда, куда молот и так приходит по дуге. Я это проверил. Пруток лёг. Кончик смотрел ровно под удар.

Я кривую выбоину не исправил. Кривая выбоина, между нами, оказалась правильной кривой — как столбы у дороги, которые кривые все, но все в одну сторону.

Испытания

После обеда я начал испытывать. И вот тут, между нами, начинается главный урок этой главы, и я его выучил не бесплатно.

Испытание первое. Пруток лёг в выбоину, я ударил — и пруток выстрелил. Не вверх даже, а вперёд, в стену, и воткнулся в неё — если не верите, представьте: кузнечный пруток, воткнутый в бревно, как стрела. Кусака подняла голову, посмотрела на стену, посмотрела на меня и легла обратно. Я так понял, что стрела в стене её уважает больше, чем я.

Причина, между нами, оказалась простая: я положил пруток в выбоину, а держать его сбоку было нечем, и удар его не продавил, а метнул. Выбоина держала вбок — но не держала вдоль.

Испытание второе. Я стал держать пруток сбоку клещами — и клещи держали, но клещи в руке, а рука при ударе дёргается вместе с прутком, и всё вернулось, как было: кончик трясётся, шляпка кривая. Я вынул два пальца, отскочил, посмотрел на свой стол, на выбоину, на пруток — и тут сидящий в голове двоечник, тот, что трижды проваливал таблицу умножения, сказал свою единственную за год умную вещь:

«Рука вообще не должна держать. Рука должна просто не мешать».

И я сделал третий держатель. Уже не выбоину — а над выбоиной, сверху, поперёк, я приковал скобу. Скоба — это как стремя, только не для ноги, а для прутка: пруток проходит под скобой, скоба держит его сверху, прижимает к дну выбоины. Рука держит только задний конец — за хвост, далеко от удара, — и дёргается сколько влезает, потому что хвост, между нами, пусть дёргается: шляпка-то теперь под скобой, и скоба её соберёт в кучу.

Первый гвоздь под скобой я сделал и не поверил. Снял. Посмотрел. Шляпка была — шляпка. Ровная, круглая, сидела на стержне, как сидят. Я согнул гвоздь пальцами — гвоздь пружинил.

Я, между нами, хотел заорать. И не заорал — по случаю счастливому, потому что заорать по-счастливому тут не у кого было учиться, а орать по-несчастному я умею, а по-счастливому нет. Это, если подумать, кое-что говорит о моей жизни.

Квас

А вот тут, между нами, я должен рассказать про Торга. Про Тонга — нет, про Торга. Торг у меня один, а «тонг» — это я с перепугу, я потом объясню.

Торг пришёл за квасом. Пришёл, как всегда, тихо, из ниоткуда, и стоял у бочки с тем видом, с которым стоят у чужого пирога: ждут, когда позовут. Квас у нас был в ведре — Гуннар разливал по кружкам прямо из ведра, у нас, между нами, посуда по ранжиру: кружки для гостей, ведро для своих.

А у меня в этот момент как раз сорвалась скоба. Я закручивал её в выбоине, скоба не пошла, пружинила, вырвалась — и улетела. По дуге. Той самой, по которой летят у меня все гвозди.

В ведро с квасом.

Торг в это время как раз поднёс кружку ко рту. И я, между нами, увидел всё — как скоба вошла в квас, как булькнуло, как по кругу пошла пена. А Торг выпил. Всё. До дна. И поставил кружку, и сказал:

— Что-то квас нынче с железком.

— С чем? — спросил я.

— С железком, — сказал Торг. — Прогнись, кислое. Кислое всегда с железком, когда старое.

И попросил ещё. И я, между нами, налил — из того же ведра, вынув скобу пальцами и вытерев её о штаны, — потому что сказать Тонгу... Торгу правду — это значило отдать ему возможность шептать про «кузнецова квас с железом» до Михайлова дня. А молчание, между нами, бесплатное только до тех пор, пока никто не спросил.

Скобу я потом перепроверил — она была цела, а квас, между нами, Торг выпил и жив. Но я вам скажу честно: вечером, когда Гуннар пил из той же кружки, я смотрел на него и думал, что совесть — это такая штука, которая лежит на дне ведра. И если её не достать, она, между нами, пена.

Двадцать из сорока

К вечеру я положил на стол сорок гвоздей. Новых. Третьих по счёту сорок — первые сорок я позорил в первой главе, вторые считал крестиками, третьи пришли под скобой.

Из сорока годных было двадцать четыре.

Двадцать четыре из сорока, между нами, — это не двадцать четыре из сорока. Это шестьдесят процентов. Я это посчитал — я, который не умеет умножать, посчитал на крестиках: двадцать четыре полных крестика, а двадцать четыре — это больше половины, и половина от сорока — это двадцать, я это знаю, потому что половина — это то, что остаётся, когда делишь на два, а на два я делить умею, даже с закрытыми глазами, я на двух делях вырос.

Двадцать четыре — это уже не двойка. Это, если школьные правила перетащить в кузницу, — тройка с минусом. Тройка с минусом за полтора дня работы, между нами, — это, если подумать, чуть ли не стипендия.

Гуннар подошёл, взял один из двадцати четырёх. Согнул пальцами. Пружинил. Взял второй. Тоже.

— Скоба? — спросил он. Не «что сделал» — «скоба». Он уже видел — у Гуннара глаз раньше слов.

— Скоба.

— Кто подсказал?

— Кусака, — сказал я честно.

Гуннар посмотрел на Кусаку. Кусака, лежавшая на золе, подняла одно ухо — то, что всегда стоит, — и опустила. Это, между нами, было её «нечего там».

И тогда Гуннар сказал сентенцию. Одна на главу, я её выписал на дощечку, на новой, потому что Мальфрида взяла старую, у неё теперь своя бухгалтерия, и дощечки, между нами, в этом доме пошли по рукам, как деньги:

— Рука, лопух, дрожит, потому что рука боится. А железо не боится, потому что железо ничего не потеряло. Кто хочет ровно бить — приучай бить не себя, а железо. — Он положил гвоздь на стол. — Скобу оставь. Скоба теперь не твоя. Скоба теперь кузницы.

И это, между нами, была самая большая похвала после «полку теперь делим». Скоба стала не моей — кузницы. Значит, я стал не подмастерьем при горне, а тем, кто кузнице что-то дал. Я не засыпал до полуночи. Лежал и в потолок улыбался. Мальфрида в темноте сказала: «Лопух, если ты сейчас улыбнулся потолку — я это слышу. Спи». И я, между нами, спал улыбаясь, только тише.

На завтра

А под вечер пришёл Торг. Второй раз за день, что само по себе, между нами, событие: Торг дважды в день бывает либо когда идёт дождь, либо когда у него есть слух.

— Лопух, — сказал он тихо. — У конюха беда. Лошадь с подковы слезла. Баронова кобыла, между нами, — я это говорю для солидности, лошадь обычная, но конюх считает, что баронова, потому что барон на ней ездил один раз.

— И что?

— И то, что подкова слезла на гвозде. Гвоздь вышел вбок, и подкова поехала. Конюх ругается. А у конюха, лопух, сын есть.

— И что — сын?

— Сын, — сказал Торг с той интонацией, с которой в моём мире говорят «и тут начинается самое интересное», — толстый. Как бочка. Добрый, как телега. И гвоздь он в подкову вбивал сам. По-своему. Криво.

Я посмотрел на стол, где лежали мои двадцать четыре годных из сорока. Потом на Тонга. Торга. Потом опять на гвозди.

— Так, — сказал я. — А что, у нас гвоздей на деревне нету больше ни у кого?

— Есть, — сказал Торг. — Только не у кузнеца Гуннара. А у кузнеца Гуннара гвозди, лопух, теперь под скобой. — Он поднял кружку, которой не было, поставил её обратно. — И про подковный гвоздь, лопух, я тебе завтра расскажу. Это отдельная песня. Потому что подковный гвоздь, между нами, не строительный. А строительный тебе сейчас продать — конюх тебя закопает.

И ушёл.

А я остался сидеть с двадцатью четырьмя годными гвоздями и с пониманием того, что, между нами, я победил одну задачу и тут же получил вторую, и вторая, как всегда, была не «сделать», а «не сделать плохо».

Строительный гвоздь я умею. Подковный — нет. А люди, между нами, уже идут. С костылями, которые я выковал.

Глава четвёртая. Конюх

Подковный гвоздь, как и обещал Торг, оказался отдельной песней. Я это понял ещё до того, как его увидел, — и понял не умом, а телом, как я тут всё понимаю. Тело у меня тут работает лучше головы. Голова у меня в моём мире получила по черчению двойку, а тело тут за два месяца выучило, что всякая мысль, которая начинается со слов «да это же просто», заканчивается либо ожогом, либо ушибленной костяшкой, либо словом Мальфриды «лопух».

Началось всё утром, с лошади.

Лошадь привели к кузнице не просто так — лошадь привели с драмой. Драму звали Бой. Бой — это кобыла. Конюхова, а по мнению конюха — баронова, хотя барон на ней ездил один раз и в тот раз, между нами, скорее сел, чем ездил. Бой была хорошая кобыла: крупная, гнедая, с глазами, в которых я читал свою биографию — «житьё у меня такое, что хозяин уже дважды вбивал мне в копыто гвоздь, и оба раза криво, и я это помню».

Лошади, между нами, всё помнят. Я это узнал в этот день и запомнил навсегда: лошадь — это существо с памятью на ноги. Курица помнит, кто её гонял. Лошадь помнит, кто ей вбивал кривой гвоздь. И обе они, между нами, ставят по этому вопросу на меня.

Привёл её сын конюха.

Вот тут, между нами, я обязан вас познакомить, потому что дальше он будет в этой истории часто, как хлеб.

Звали его Копейка. Не потому что мелкий. А потому что конюх, его отец, однажды так его назвал — «моя копейка» — и деревня подхватила, потому что деревня у нас работает быстрее любого слуха, если слух смешной. А было смешно вот что: Копейка был толстый. Не «упитанный». Не «здоровый». Толстый — как бочка, в которой не осталось места для бочки. Когда он шёл, дорога, между нами, слышала его раньше, чем видела, и я не шучу про дорогу — я про то, что он так ходил, что мостки стонали.

И он был добрый. Так добрый, между нами, что это иногда было страшно. Он был из тех людей, которые отдадут тебе последний кусок, а потом встанут и скажут: «Слышь, а у меня же больше не было. Дай куснуть». И это не торг — это он реально забыл, что отдал.

— Здорово, лопух, — сказал Копейка. Он влез в кузницу — не вошёл, а влез, как влезают в дом, который для тебя мал, — и это уже было событие: моя кузница на секунду стала меньше. — Это у вас тут подковы делают?

— Подковы тут Гуннар делает, — сказал я. — Я при горне.

— Ага, — сказал Копейка. Он посмотрел на Гуннара. Гуннар посмотрел на Копейку. Между ними, между нами, было два года молчания, которое началось с того, что Копейка в десять лет сломал Гуннарову ограду — не нарочно, а потому что на неё сел. Сел он тогда всем, между нами, что у него было, и ограда не выдержала первой.

— Гуннар, — сказал Копейка. — Здорово.

— Здорово, — сказал Гуннар. И замолчал. Гуннар, я вам скажу, умел замолчать так, что замолчание у него было весомей вопроса.

И тогда Копейка вынул из-за пазухи гвоздь. Просто гвоздь. Кривой. Тот самый — я его сразу узнал: кривизна у гвоздей, между нами, бывает разная, и есть такая кривизна, которую я узнаю, как родную.

— Вот этот, — сказал Копейка. — Я в Бойку вбил.

— Я вижу, что ты вбил, — сказал Гуннар. — Бойку вижу, что с подковой поехала.

— Ага, — сказал Копейка. — Батя ругается. А я, слышь, не нарочно. Я гвоздь не в то место положил.

— Гвоздь, — сказал Гуннар, — не в место положил — это бывает. Гвоздь в место положил, а он поехал — это не бывает. Это гвоздь кривой.

Копейка замолчал. Я смотрел на него и видел, как в нём, между нами, медленно поднимается та самая правда, которую толстые люди говорят редко, потому что она тяжёлая, а они и так тяжёлые:

— Гвоздь мой, — сказал он. — Я его сам ковал. Батя разрешил один раз. Я один раз и сделал. И Бойку вбил. И теперь Бойка хромает, и батя ругается, и я... — Он замолчал. И добавил тихо: — И Бойка на меня смотрит.

— Ну? — спросил Гуннар.

— А ничего, — сказал Копейка. — Смотрит. Я к ней с овсом — а она овёс не ест. Смотрит.

И вот тут, между нами, мне стало его жалко. Не как существо-существо, а как двоечник-двоечник. Я в моём мире знал, что такое, когда на тебя смотрят — и ты знаешь, что ты виноват, а исправить не можешь, потому что уже всё случилось. Копейка смотрел на Бойку — а Бойка смотрела на Копейку — и я это понимал с первого взгляда.

— Дай гвоздь, — сказал я Копейке.

Копейка отдал. Я положил гвоздь на наковальню. Согнул пальцами — гвоздь сдался сразу, без боя. Не пружинил. Просто сдался.

— Кривой, — сказал я.

— Знаю, — сказал Копейка.

— Не «знаю», — сказал я. — Кривой — это не «кривой». Это холодный. Ты его ковал, а он остыл. Понимаешь?

— Нет, — сказал Копейка честно.

— Вот, — сказал я. — И я не понимаю, а гвоздь — понимаю.

Подкова

Гуннар взял подкову — снял с копыта Бойки сам, я держал ногу, и нога, между нами, была тяжелее, чем я думал, и тёплая, как печь, в которой кто-то живёт. Подкова была с трещиной — не сломана, а надломана, как ломается не железо, а терпение.

— Подкову менять, — сказал Гуннар. — А гвоздь...

И он посмотрел на меня. Так, между нами, что я понял: сейчас будет не подкова. Сейчас будет урок.

— Лопух, — сказал Гуннар. — Скажи мне: чем подковный гвоздь отличается от строительного?

Я подумал. Подумал по-настоящему — то есть недолго, потому что долго я не умею. И сказал:

— Он... в копыто.

— Ага, — сказал Гуннар. — В копыто. А копыто, лопух, — это не брус. Брус — мёртвый. А копыто — живое. Живое дышит. Тепло держит. Расширяется. — Он положил подкову на наковальню. — Строительный гвоздь вбили — и он сидит. Держит тем, что держится. А подковный, лопух, держит тем, что его подпирает. Он не держит — он держится. Разница, между нами, такая: строительный гвоздь работает один. Подковный работает вчетвером — их четыре, и каждый на троих подстраховывает. И если один из четырёх кривой — подкова поехала. И конь хромает. И ты, лопух, виноват не в одном гвозде, а в четырёх.

Он взял со стола пруток. Толстый. Толще, чем я привык.

— Подковный гвоздь, — сказал он, — толще строительного. И короче. И шляпка у него не плоская, а сапожная — он в копыто входит так, чтобы вплоть не вошёл, а на пол-оборота зашёл и встал. — Он положил пруток рядом с гвоздем Копейки. — И самое главное, лопух. Строительный гвоздь кривой — доска скрипит. Подковный кривой — конь хромает. А конь — это у нас не доска. Конь — это баронова кобыла, которую вбил сын конюха, и за это, между нами, ещё спросит. Не барон. Конь.

И он ушёл к горну — ковать новую подкову. А я остался с Копейкой, с кривым гвоздём, с Бойкой, которая на меня смотрела, и с задачей, которая, между нами, была не «сделать подковный гвоздь», а «сделать такой, чтобы Бойка на меня перестала так смотреть».

Копейка

Пока Гуннар ковал подкову, Копейка сел. Сел он там, где сел, — то есть на мою скамью, и скамья, между нами, приняла его с достоинством, которого я от неё не ожидал. Кусака, которая на чужих всегда лаяла, на Копейку не лаяла никогда — Кусака, между нами, разбиралась в людях лучше, чем я в гвоздях, и Копейку уважала. За что уважала — я так и не понял. Может, за то, что Копейка единственный в деревне, кто Кусаку гладил так, как Кусака любила, — тяжело, по-хозяйски, как гладят не собаку, а друга.

— Слышь, лопух, — сказал Копейка. — А ты чего такой умный стал? Ты раньше... — Он осёкся. — Ты и сейчас не умный. Но гвозди у тебя умные.

— Гвозди у меня под скобой, — сказал я. — Скоба умная. Я при скобе.

— Скоба, — сказал Копейка. И подумал. Он думал медленно — я видел, как мысль по нему ползёт, как муха по стене, — и потом сказал: — Слышь, а скобу можно и на подковный? А?

И вот тут, между нами, я замер. Потому что это, между нами, был не вопрос дурака. Это был вопрос, за который в моём мире ставят пятёрку. Копейка, который не умел читать, не умел считать и не умел думать быстро, — он задал вопрос, который двоечники задают лучше всех: не «как сделать», а «а можно то же самое, но для другого?»

— Можно, — сказал я. И это была правда: скоба не знает, какой гвоздь под ней, — она держит то, что держит. — А подковный, Копейка, — это другой гвоздь. Толще. Короче. Шляпка другая. И удар другой.

— А какой? — спросил Копейка.

И вот тут, между нами, я замолчал. Потому что я не знал. Я знал строительный — тот, который я выучил под скобой. А подковный я не делал ни разу. И в моём мире, между нами, я подков не видел вообще — у нас лошади не ходили, а ходили автобусы, и автобусы, между нами, подков не требовали.

— А какой — я не знаю, — сказал я честно.

— А Гуннар знает? — спросил Копейка.

— Гуннар знает.

— А он скажет?

— Не скажет, — сказал я. — Скажет, когда я спрошу. А спрошу я, когда сдам строительный. У меня в кузнице, между нами, порядок: не умеешь один — за другой не берутся.

Копейка кивнул. И сказал то, что я потом думал неделю:

— А мой батя, — сказал он, — умеет подковный. Он один раз в столицу ездил — там подковы ставили, — и научился. Батя всё умеет. Только молчит.

— А почему молчит?

— А потому что, — сказал Копейка, — он один раз рассказал, как подкову ставить, а его посадили. В позор. За то, что гвоздь кривой вбил. И батя после этого молчит про подковы. Батя молчит про всё, что у него не вышло. Батя, между нами, — это как Гуннар, только с обидой.

И я, между нами, вспомнил Гуннара, который сказал «мой дед умел» и не сказал, чему. Тут, между нами, я впервые подумал, что в этом мире молчание — это не пустота. Молчание — это то, что у людей вместо слов, когда слова у них отняли. И у каждого, между нами, своё молчание. У Гуннара — про деда. У конюха — про подковы. У Копейки — ничего: он молчать не умеет, он сразу всё рассказывает, и потому, между нами, он единственный, кто мне в этой деревне не врёт.

Бойка

А потом пришла Бойка. Не пришла — её завели: Гуннар выковал новую подкову, и мы пошли к конюху — подковывать. Копейка нёс подкову, как несут крест: двумя руками, перед собой, не сгибаясь. Это, между нами, было смешно и трогательно одновременно — потому что Копейка нёс подкову не как железо, а как извинение.

Конюх был в конюшне. Конюх — это отец Копейки — был худой, серый, с руками, в которых, между нами, было столько жил, что кажется, будто у него рук больше, чем пальцев. Он увидел нас — и молча кивнул. Молчание у него, я уже знал, было не пустота, а молчание с обидой.

Бойку привязали. Гуннар взял копыто. Я держал ногу. И вот тут, между нами, я впервые в жизни увидел, как куют живому.

Гуннар не бил. Он держал копыто, как держат чашку с горячим — крепко, но чтобы не разбить. Старый гвоздь он вынул клещами — медленно, по чуть-чуть, и на каждом движении копыто дёргалось, и Бойка вздрагивала, и Гуннар останавливался. И ждал. И потом шёл дальше.

— Лопух, — сказал он тихо. — Смотри.

И он показал мне то, что я потом буду думать до самой смерти. Он вбил первый подковный гвоздь — и вбил его не в кость. Он вбил его так, что гвоздь вошёл в копыто между твёрдым и мягким, туда, где живому не больно, а держится крепко. Я это видел — гвоздь вошёл, и Бойка даже не дёрнула ногой.

— Видишь? — спросил Гуннар.

— Вижу.

— А что видишь?

— Что она не дёрнулась.

— А почему не дёрнулась?

— Потому что не больно?

— А почему не больно?

— Потому что ты... — И я замолчал. И, между нами, у меня внутри сделалось то самое, что бывает, когда двоечник вдруг видит задачу целиком. — Потому что ты попал не в кость. Ты попал туда, где не кость. Значит, подковный гвоздь — это не про гвоздь. Это про то, куда его класть. Гвоздь может быть любой — а место — нет.

Гуннар молчал. Потом сказал:

— Ага.

И это его «ага», между нами, было то самое, что я уже слышал у приказчика. «Ага» — это когда взрослый понял, что ты понял, и записал. Он вбил остальные три гвоздя — все три ровно, все три на том же месте, — и Бойка встала на все четыре ноги и перенесла вес, и ничего не дёрнулась. И посмотрела на Копейку.

И вот тут, между нами, было то, ради чего я всё это рассказал. Бойка посмотрела на Копейку — и моргнула. И Копейка понял. Он не умеет читать, он не умеет считать, но лошадиные глаза он читает лучше всех в деревне. Он подошёл к Бойке, положил руку ей на шею — тяжело, по-хозяйски, как гладят друга, — и сказал:

— Прости, Бойка.

И Бойка, между нами, моргнула второй раз.

А я стоял с гвоздём Копейки в руке — с тем самым кривым, холодным, — и думал, что в моём мире за такое, между нами, пятёрки не ставят. За такое в моём мире просто живут. А здесь это стоит дороже пятёрки. Это стоит прощения от лошади.

Вечер

Вечером я сидел в кузнице и чертил крестики. Новую строку — четвёртую. Четвёртая строка была не про мои ошибки, а про гвоздь Копейки.

Кривой — зарубкой сверху. Холодный — зарубкой снизу. А рядом — сбоку — я нарисовал копыто. Не умею рисовать копыта — нарисовал квадрат с кружком. И в кружке — точку. Точку, куда надо попадать.

И, между нами, у меня получилась первая карта. Не карта дорог — карта копыта. Точка, куда вбивать. Всё остальное — это то, куда вбивать нельзя.

Мальфрида зашла за мной в кузницу — она приходила за мной с ужином, потому что я, между нами, в кузнице забывал про ужин каждый второй день, и Мальфрида это знала, и приходила, и ставила на наковальню миску, и я ел с наковальни, и это, между нами, было нормально. Миска на наковальне, наковальня под миской, ужин в миске, я в мире. Всё на местах.

— Что рисуешь? — спросила она.

— Копыто, — сказал я.

Мальфрида посмотрела на моё «копыто». Потом на меня. Потом опять на «копыто».

— Это не копыто, — сказала она. — Это решето.

— Это копыто, — обиделся я. — Я так вижу.

— Ты, — сказала Мальфрида, — так видишь, что Гуннар смотрел бы и плакал. — Она взяла уголь. И под моим квадратом с кружком нарисовала — я не поверил — копыто. Настоящее. С тем, куда гвоздь входит, и с тем, куда нельзя. Она рисовала, между нами, так, как будто копыто у неё было не одна тысяча раз, а все копыта в деревне разом. — Это, лопух, — сказала она, — называется «стрелка». А вот это — «белая линия». Гвоздь — туда, где белая. Не туда, где стрелка. Стрелка — это для чистки.

— А ты откуда знаешь?

— А я сорок лет рук, — сказала Мальфрида. — У меня руки все знают. Руки, между нами, умнее головы, потому что голова забывает, а руки не теряют.

И ушла. А я остался смотреть на копыто, которое она нарисовала, — и на своё квадратное решето, — и я, между нами, впервые в жизни понял, что такое настоящий талант. Настоящий талант — это когда человек рисует копыто, которого не видела, и говорит: «Руки знают». А мой талант, между нами, — это когда я вижу квадрат с кружком и мне кажется, что это копыто.

А вечером пришёл Торг. Третий раз за день — это уже было не событие, а погода.

— Лопух, — сказал он тихо. — Про подковный гвоздь ты теперь знаешь всё?

— Всё, — сказал я. — Куда вбивать — знаю. Как ковать — не знаю.

— А кто знает?

— Гуннар знает. Конюх знает. Конюх молчит.

— Ага, — сказал Торг. — Молчит. А я тебе скажу, лопух, за что конюх молчит. Он молчит не потому, что обиделся. Он молчит, потому что ему за подковы, между нами, никогда не платили. Конюх ставит подковы за то, что его кормят. А теперь, лопух, — Торг наклонился и понизил голос до того тона, каким шепчут, когда хотят, чтобы услыхали только двое, — в деревне ходит слух, что подковный гвоздь, который стоит как строительный, кует кузнец Гуннар. И если это слух дойдёт до цеха — а он, лопух, до цеха дойдёт, потому что цех, между нами, работает на слухах быстрее деревни, — то кузнецу Гуннару придёт счёт. За подковы, которые он ковал бесплатно. Цех, между нами, любит своих, но своих же и счёт выставляет.

Я посмотрел на Тонга. Торга. Я его уже знал — он шептал так, чтобы его шёпот, между нами, был слышнее крика.

— И что делать?

— А то, — сказал Торг. — Ты, лопух, теперь кузнец, у которого есть скоба. И подковный гвоздь ты скоро выкуешь. И когда выкуешь — плати конюху. Не за подковы — за то, что он молчит. Молчание, лопух, теперь у нас в деревне — это товар. А товар, между нами, надо выкупать раньше, чем его кто-то другой купит.

И ушёл.

А я остался в кузнице с миской на наковальне, с копытом, которое нарисовала Мальфрида, с кривым гвоздём Копейки и с задачей, которая, между нами, была уже не «сделать подковный гвоздь», а «выковать его раньше, чем счёт придёт от цеха».

Кусака встала с золы, подошла, села рядом — не на железо, на золу, она умела выбирать — и посмотрела на меня. И это был взгляд, который, между нами, я теперь умею читать: «Лопух. Ты ковал гвоздь. А ты, между нами, ещё не научился платить».

И я, между нами, на это не ответил. Потому что ответить было нечем.

Глава пятая. Дочь священника

Чётные дни теперь для меня были не дни, а уроки. По нечётным я ковал строительные гвозди и платил костяшками, по чётным ходил к дьяку — учить грамоту и платить головой. Плата шла по разным ведомствам, и я, между нами, к осени понял, что ведомства не делятся: костяшки болят на уроках грамоты, а голова болит у горна. В кузнице я думал про буквы, у дьяка — про гвозди. Двоечник, между нами, остаётся двоечником в обоих мирах: у него всё перепутано местами, и это, как выяснилось, нормальный способ жить.

Про дьякову дочку я должен рассказать с самого начала. Не потому, что это важно для гвоздей. А потому, что это важно для всего остального — а я, между нами, понял это сильно позже, и теперь рассказываю в правильном порядке, как Мальфрида раскладывает крупу по мешкам: сразу по местам, чтобы потом не пересыпать.

Звали её Пелагея. Имя ей досталось тяжёлое, как её отец: дьяк в разговоре опускал имя дочери так же, как опускал молоток на колокольчике — то есть старательно и с печатью. Пелагея, между нами, была не дочка — была продолжение. Она и выглядела как дьяк, только меньше: та же прямая спина, те же руки, сложенные перед собой, как у человека, который никогда ничего не берёт без разрешения. Ей было, по моим подсчётам, лет четырнадцать — я спрашивал, она ответила «сколько положено», и это, между нами, был первый урок, который она мне дала: у некоторых вопросы задавать нельзя, а у дьяковых — вообще ни один.

Я её видел до этого раза дважды. Один раз — на Петровом дне, когда скупщик шёл к дьяку, и она стояла за его спиной с корзиной и смотрела на меня так, как смотрят на камень, о который уже однажды споткнулась и больше не собирается. Второй раз — у колодца, когда я нёс воду, а она её вычерпывала, и мы, между нами, не сказали друг другу ни слова, потому что в деревне мальчишка и дьякова дочь не говорят, если на это нет официальной причины.

Официальная причина появилась в этот чётный день.

Урок

Я пришёл к дьяку после обеда. Дьяк сидел в своей горнице за столом — дьяк всегда сидел за столом, я подозреваю, что у него есть вторая скамья, а не стол, и он по ночам сидит за ней, а днём сидит за первой, — и перед ним лежала восковая табличка, на которой он писал. Писал он, между нами, медленно и красиво, как рисуют икону: каждая буква стояла у него так, как стоят люди в строю, и ни одна не думала уйти в сторону.

— Садись, — сказал дьяк. Я сел. — Сегодня у нас «буква за буквой». Ты знаешь восемь. Девятая — «Мыслете».

— Мыслете, — сказал я.

— Мыслете, — согласился дьяк. — И чтобы ты не думал, что это легко: «Мыслете» — это буква, которая значит «мысль». Кто умеет писать «Мыслете», тот, между нами, держит мысль на бумаге. А бумага, лопух, — это то, что остаётся. Человек уходит. Бумага остаётся.

Я кивнул. Я вообще кивал дьяку много — кивок, между нами, единственная форма согласия, за которую не платят.

И тут открылась дверь.

Вошла Пелагея. С корзиной. Она вошла так, как входит человек, у которого в этом доме есть обязанности, а не права: сразу к полке, сразу с корзиной, ни одного лишнего взгляда. Я смотрел на неё из-под бровей — по-двоечницки, то есть заметно.

— Лопух, — сказал дьяк, не поднимая головы. — На меня смотришь. На букву смотри.

— Виноват, — сказал я.

— Виноват, — сказала Пелагея тихо. Она это сказала мимоходом, раскладывая что-то по полке, и это, между нами, было самое страшное: она не тебя поправила, она тебя подтвердила. Как будто дьяк сказал, а она расписалась.

Я взял грифель и стал писать «Мыслете». Получилось у меня, как обычно: буква вышла кривая, с перекошенным верхом, похожая на человека, который шёл и споткнулся. Я, между нами, на кривые буквы смотрел спокойно — кривые буквы меня уже не пугали, я к ним прирос. А тут Пелагея, проходя мимо, остановилась. Посмотрела. И сказала:

— Верх заваливается.

— Знаю, — сказал я.

— Знаешь и пишешь, — сказала она. И пошла дальше с корзиной.

И вот тут, между нами, у меня внутри произошло то, что в моём мире происходит, когда двоечник получил двойку, а сосед по парте сказал: «Я же говорил». Не обидно. Хуже. Обидно — когда ругают. А когда говорят «знаешь и пишешь» — это, между нами, уже не ругань, это диагноз.

Пикировка

Я не сдался. Сдался я через три урока.

За три урока выяснилось следующее. Во-первых, Пелагея была грамотнее дьяка — не по письму, по чтению: она читала быстрее, и дьяк это знал, и это, я потом понял, была тайная гордость дьяка и тайная горечь Пелагеи одновременно, потому что грамотная дьячья дочь — это, между нами, как кузнечный сын, который сильнее отца: в деревне это не радость, это проблема. Во-вторых, она учила дьяковых младших учеников, которых у него было трое, и учила она их строже, чем дьяк, и те трое её боялись больше, чем дьяка. В-третьих, у неё было то качество, которое я потом буду узнавать во всех умных людях этого мира: она слушала.

И вот как мы стали разговаривать. Не сразу — сначала была пикировка.

— У тебя опять верх завалился, — сказала она на втором уроке, не глядя. Она, между нами, видела мои буквы спиной. Я до сих пор не понимаю, как она это делала — у неё, между нами, глаза сзади, или у меня буквы орут сверху.

— У меня всё заваливается, — сказал я. — И буквы, и гвозди.

— А гвозди ты правишь?

— Правлю.

— Чем?

— Молотом.

— А буквы?

Я замолчал. Я думал про буквы и про то, что у меня нет для букв молота. А потом сказал:

— А у букв нет молота. Буквы правят переписыванием. Это, между нами, хуже молота: молотом один раз, а переписыванием — до вечера.

Пелагея поставила корзину. Посмотрела на меня. И я впервые увидел, как у неё, между нами, шевельнулось лицо — не улыбка, а то место, где у других улыбка: чуть под левым глазом.

— Ты, — сказала она, — первый из дьяковых учеников, кто сказал про буквы что-то, что можно записать в прописи.

— Что?

— «Молотом один раз, переписыванием до вечера». — Она повторила это ровно, как дьяк повторяет псалом. — Это надо записать. Дьяк такое не скажет. Дьяк скажет «усердствуй».

— А ты запишешь?

— Нет, — сказала Пелагея. — Мне записывать некуда. Девкам не полагается грифель.

— А почему?

— А потому, — сказала она, — что девкам не полагается даже «почему».

И вот тут, между нами, я задал тот вопрос, который задаю лучше всего — двоечницкий. Не «как». Не «зачем». А:

— А тебе полагается?

Пелагея замерла. Она замерла так, как замерла бы Кусака, если бы её окликнули чужим голосом. И потом сказала — тихо, только мне:

— Мне полагается корзина.

И понесла корзину дальше.

Кости

Третий урок случился у колодца.

Я опять нёс воду. Ношение воды — это, между нами, моя основная квалификация в этом мире: я ношу воду, как двоечник носит двойки — регулярно и без надежды. Пелагея стояла у колодца с двумя вёдрами и ждала очереди. У колодца, между нами, есть очередь, как у всего в этом мире, что необходимо и бесплатно.

И я, между нами, спросил. Не «как ты». Не «сколько тебе лет». Я спросил то, что мне было нужно, — потому что двоечник всегда спрашивает то, что ему нужно, и это, если подумать, его единственная честность:

— Слушай. Ты умеешь читать. Дьяк умеет. А кто тебя учил?

— Дьяк, — сказала она.

— А дьяка кто?

— Батюшка дьяка.

— А батюшку?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.